

Источник: Белов В. И. Бобришный утор : [рассказ] / В. И. Белов // Привычное дело ; Рассказы / В. И. Белов. – Москва, 2007. – С. 247–262.

БОБРИШНЫЙ УТОР

Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда спускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неспешно готовился отойти ко сну. Смолкали одна по-за одной непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой елки. Затвердевала смола. И ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души, он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и не тревожна бывает она порой, как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло главную мелодию нашего состояния. Мелодия же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засы-

пающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша родина.

Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи. Потому что большим понятиям нет дела до нашей словесной возни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопаются, наверное, только ложные святыни, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг ощутил еще невидимый Бобришный угор. Ощутил мощный ток покамест невидимой и неслышимой реки, ее близость. В дорожном просвете, в этом готовящемся к ночному покою лесу я увидел домик. Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре. Я перелез осек — высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов, — и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее, попетляла меж сосен и умерла на полянке, около домика. Несмотря на ночные сумерки, трава на полянке белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо цвела позади домика: я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать ее белые звездочки. Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам, но я тут же изловил себя на сентиментальности. В таких случаях всегда хочется закурить. И я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву, я затолкал окурок в спичечную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички

вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня ощутить, как легко, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором. Тот, противоположный берег, был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, у воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извиистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз и жил в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была спокойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще некошеного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

* * *

Ты был праздничен и никак не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Еще не окрепло одно, как рождалось уже другое, еще более сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенькой крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами,

ясная, бессонная стремилась река, и коростель неутомимо драл нога о ногу. И все было спокойно, отрадно и радостно.

— Здравствуй, земля моя родная.

Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи с родной землей не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно. Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство ограничивает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника — принесла хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой в деревню, а ты принес из сенец дров и затопил печь. И огонь словно вдохнул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гэзы собирались на этот призыв со

всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах, быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина...

Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина. Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая родина. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь в огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода так же, как и время, никогда не вернется обратно.

* * *

Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилице. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня. Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу

радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, тут и там застенчиво и озорно цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство. А мы, мужчины, еще и теперь идеализируем действительность, и нам хочется слышать в голосе кукушки печаль, — и мы слышим эту печаль, забывая о том, что кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц.

Бобришный угор пел на все голоса. Я слышал здесь даже соловья, он раза два-три принимался щелкать и переходил на пение. Но здешний соловей был как бы слишком застенчив, он словно боялся быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды и синицы не смолкали ни на секунду.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропке я съехал к реке, чтобы умыться, и вдруг увидел нечто странное. Муравьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке, другие так же суматошно — от реки, вверх, и было жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вчёр на сентиментальности, я поймал себя на философствовании.

Как раз в это время и чмокнул соловей, я с удовольствием забыл про муравьев, сбегал за удочками, волнуясь, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком тихом зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю: кислый и сочный щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть ужения и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инеем. Поплавок застрял в мозговом механизме, остановил его ход, его неумолимый бег к той стремнине, где бессменно караулят нас ехидные категории смерти, пространства и времени. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме звучит коровий колокол — жалкий наследник своих могучих меднобоких предков. И вдруг я как бы с удивлением замечаю, что поплавок уже давно недвижим, что, собственно, ведь и не клюет и что надо сматывать удочку...

И все вновь становится по-прежнему. А ты с наживкою в рукавице неумоимо ходишь от заводи к заводи. Ищешь, ждешь хорошего клева, и у каждого нового куста веришь в большую добычу. И каждый куст обманывает тебя, и ты вслух придумываешь причины безрыбья. Тебе хочется поймать хариуса. Я никогда

не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда, мы с минуту любовались тремя беззащитными яичками. Потом поднялись на угор.

Все-таки на уху-то наудил ты со своим терпением, а не я, проспавший восход солнца. Наверное, терпение нужно людям не меньше, чем азарт и смелость, иначе не сварить никакую уху, никакую кашу, вся беда в том, какое терпение.

Вытряхивая из старой холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты рассказываешь о том, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. «Что ж, чай с молоком — напиток давнишний, аристократический, напиток бунинских мелкопоместных дворян и северного крестьянства», — почему-то думается мне, а ты уже волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу.

— Знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я, конечно, не знал. Не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сеней. Сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стене, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое, окошечко. А я тоже, как тот дятел, уже не могу без своих дурацких аналогий. При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт

предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца, и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.

...Если бы юность умела,
Если бы старость могла.

Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверно, крестьянская, все время сковывала меня, и, может быть, я не выглядел откровенным в твоих глазах, и в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее — это взять ружье и уйти на тягу.

* * *

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек об

родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым.

Но я думаю о том, что человеку нужно, наверное, увидеть каскад городских огней, услышать каскад джазовых звуков.

И свист рябчика людям не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься столичных мимоз; не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих «ТУ» с их обязательными леденцами и пристяжными ремнями...

Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так настороженно-недоверчивы к нам твои земляки? Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Она, эта сказка, звучит примерно так, как и все наши сказки: хитро и неліцеприятно, сурово и мудро. Жили-были дед с бабушкой, у них ничего не было. Давай, старик, говорит старуха, слепим сынка из глины, а то никого у нас нет. Давай, говорит старик. Слепила старуха сынка из глины — Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Идет дальше, дошел до леса, а навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, а медведь ему не поддался, распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабушка, и мужики с косами. Мужики медведя бить. Били, били и уколошили...

Но ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу.

К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут не ладно... Что и кому можно прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? Ко всему этому, многие люди не прощают великодушия. Как те косцы, которые убили медведя. Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного, и нечего соваться не в свое дело. Может, нам в брюхе-то лучше было. Поди разберись теперь, положительный ли герой этот медведь?

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что герои и в жизни вовремя погибают. У писателя же тем более не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расклебывать кашу новым, таким же непоколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто приходит ко мне страшная мысль о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может быть, сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может быть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. Но так трудно быть человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по здешним лесам, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей, не способной ощущать раздавленного птенца. И все мы научились так изумительно оправдываться невозможностью рубить лес без щепы, что позволяем изводить на щепу и сами срубленные стволы, благо есть что

рубить и лесостепь покамест не соединилась с холодной тундрой. Ко всему прочему мы порой ограничиваем борьбу за новое всего лишь разрушением старого. Потому что, чтобы разрушить, зачастую требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как наивно уверены в том, что войдут в историю! Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую, если, конечно, он не круглый дурак, ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде укрыться от дождя...

Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, бродя босиком по земле, и шишки стучались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.

* * *

Однажды я потерял чувство времени. Время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно-счастливое состояние. Нет времени. Нет вечности — ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Теперь вдалеке от Бобришного, я с улыбкой вспоминаю то счастливое состояние, сравнимое, может быть, только с состоянием космической невесомости, когда для человека нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада, ни верха, ни низа. Странное необъяснимое состояние. Я глядел на все, окружающее

Бобришный угор, каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло. Может быть, это состояние было вызвано чтением Толстого: этот старик как бы стоял у моего изголовья живой, и его дух был моим духом, он чувствовал то же, вернее, я при его воздействии чувствовал то же, что чувствовал он. Иными словами, он был живым, он жил во мне, пока я читал «Казakov» и повесть «Семейное счастье», и то, что он жил, смывало ощущение времени. Может быть, это состояние питалось присутствием всюду натуральной, не из вторых рук природы, которой ни до чего не было дела, может быть, тем, что я никогда не видел тебя спящим.

Рябчик свистел за нашим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные, в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток. Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия, и жил один, но иногда меня мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам, когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя и вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочилась в твоём голосе. Ты говорил о своём недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь; горе это неутешно и необъятно. Да, умереть нужно мужественно, но, наверное, ещё большее мужество необ-

ходимо, чтобы жить, человеку иногда труднее жить, чем кончить однажды. Помнится, я осторожно сказал тебе, что ведь умрут даже те, кого еще нет на свете, кто даже не родился еще, но это не прозвучало для тебя утешением, и в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирав сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел, слушал тревожный замирающий шум леса и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко, гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь, надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер матерел с каждой секундой. Я медленно уходил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком, тоже молодом сосняке не было ни листка, ни травинки, один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза, но ее грохот казался мне нелепым, бессмысленным: на кой черт все это! Для чего и зачем?

В доме я увидел тебя спокойно сидящим за тем еловым, сколоченным из чурбаков и плах столом. Ты

оглянулся: во взгляде светился ровный ясный покой. Спросил, не промочил ли я ноги, и голос прозвучал тоже как-то сердечно и просто, в нем были мудрость, тепло и словно тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, словно зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне. Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно, и самое смешное то, что я злился на себя из-за того, что оно возвращалось. Я вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон домика трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу, и в небе летела вода. Один раз треснуло совсем рядом, одновременно с зеленой вспышкой разряда, и это словно вышибло из меня остатки рефлексии...

Нет, надо просто жить, раз родился, и нечего спрашивать, зачем родился, жить, жить, жить... И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со стыдом я закурил, мне уже хотелось как в детстве закатать штаны и босоплясом пуститься по дождевым лужам.

Гроза утихала над нашим кровом, она уходила частью дальше, частью выдыхалась, но дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «Спидола» негромко играла прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши каплют последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике, кажется, это была одна из шопеновских мазурок, та самая, в которой звучит спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого,

что в доме струилась эта светлая прекрасная музыка, что в твоём голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать для людей и для времени в этом непостижимом мире.

* * *

Бобришный угор тихо рокотал соснами, когда мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, кукушка молчала, а на окне так и остались синие лесные цветы, и сосновые лапы, и томик Толстого. Наверное, сейчас там тишина и снег, река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.